



МОЙ ДЕД ХЛЕБ РЕЗАЛ СТОЯ

Так уж получилось у меня: на самолетах и вертолетах, на оленьих и собачьих упряжках исходил я весь Север, на лодках прошел метр за метром почти всю страну, а поездить по местам, где родился и вырос, было все недосуг. И вот решился наконец. Уже несколько дней брожу по карабахской земле. Я открываю для себя давно мне знакомый Карабах.

Вспомнилось, как один из школьных друзей Юрия Гагарина, узнав о подвиге космонавта номер один, воскликнул: «Так вот он, оказывается, какой! Хотя я и не удивляюсь». Примерно такое же чувство было у меня, когда Карабах постепенно становился откровением, когда я для себя открыл этот маленький материк. А он действительно маленький. Даже едва заметная на карте мира Камчатка, и та в 80 раз больше Карабаха. Но, как говорит писатель Леонид Гурунц в своей знаменитой «Карабахской поэме»: «Ничего, что он мал, соловей тоже невелик, но, когда поет, его голосу внемлет весь мир». Надо же: родился здесь; вырос; впервые увидел свет, полюбил эту землю, эти горы и знать не знал, что в Карабахе самыми главными учителями являются седовласые старцы, а они больше любят говорить о новом, чем о старом, о сыновьях, чем об отцах, о родившихся сегодня, чем об умерших вчера. «Лучше пусть царь упадет со своего трона, чем ребенок из люльки». Говорят, эти слова слышал каждый карабахец еще в колыбели. Правда, старики не преминут добавить: «Кто послушается отца, тот споткнется о камень, кто забудет его — потеряет имя».

Случается, и в Карабахе юноша споткнется о камень, но имя свое бережет как зеницу ока, бережет для сына. В этом бессмертие людей.

В селе Сейди-шен я встретился со столетним крестьянином Самсоном Габриеляном. Говорили о многом. Говорили о русском народе. «Удивительный народ — эти русские, — расска-

зывал старец, — избавили нас от вековых войн, спасли нас, вернули нам свободу — и все это сделано без корысти. Русастан стал для нас Стеной спасительной». Эти же слова я слышал от стотридцатилетней Такуи Арустамян. Меня удивило, что два старых человека, не умеющие ни писать, ни читать, вдруг мыслят одинаковыми образами: «Стеной спасительной». Все оказалось просто. Позже мне довелось прочитать в книге «Сношение Петра Первого с армянским народом», где карабахские мелики, обращаясь за помощью к России, просили, «чтобы она стала щитом и стеной спасительной оберегала цыплят своих».

Стеной спасительной. Так эти два слова, написанные когда-то меликами русскому царю, стали крылатыми для армян, а также для других народностей — азербайджанцев, греков, курдов, населяющих Карабах.

Гандзасар. Знаменитый монастырь. Уникальное архитектурное сооружение, построенное в XII веке. Резиденция Агванского католикоса, Гандзасар, была одним из очагов армянской культуры. В мирное время Гандзасар был школой в широком смысле слова, в военное — стратегическим штабом. И в том, что карабахские армяне никогда не давали глумиться завоевателям над могилами дедов, большая заслуга Гандзасара и... гор. Да, карабахцы всегда опирались на свои горы, как на плечо друга. И не случайно «мы — наши горы» здесь не произносится иначе, как именно в таком сочетании. И не случайно у входа в Степанакерт красуется великолепный скульптурный ансамбль, созданный из красного туфа, изображающий саму Мудрость в образе старика и старухи. Естественно и символично, что ансамбль этот карабахцы (не автор, а карабахцы) назвали «Мы и наши горы».

Сейчас многострадальный Гандзасар, изрядно пострадавший от времени и нашествий варваров, переживает свое второе рождение. Символ русско-армянской дружбы — именно отсюда армянские мелики писали письма русским царям, древний монастырь, станет музеем, который расскажет потомкам о великой дружбе двух народов. Благодарный армянский народ, испокон веков мастерски владеющий искусством резьбы на камне, высечет здесь слова великого Абовяна: «Имя русское должно быть для нас так же священо, как кровь, коею спасены мы навсегда. Имя это внушает каждому благоговение и преданность».

Прав поэт, сказавший: «У армян нет безграмотных камней». Я ездил по Карабаху и читал Карабах, как книгу. Надписи и красивый орнамент на камнях здесь никогда не были самоцелью. Напротив, они имеют практический смысл. Сына растить и деревце посадить обязан каждый. А вот создать (именно «создать») родник может только настоящий художник, если не сказать, поэт. Жаждающий человек, как бы он ни страдал, сначала обратит внимание на красоту, а уж потом утолит жажду. И в этом мудрость. Путник, прошедший горную дорогу разгоряченный, не должен сразу припасть горячими губами к холодной воде. Нужно перевести дух. Вот он и любителю великолепными узорами на камне. Читает по слогам вслух: «Только когда высыхают родники, мы узнаем цену воде». «Первое слово старшему, первый глоток младшему».

Сегодня я посетил деда. Весь вечер сидел один у его могилы. Разговаривал с ним молча, а мне казалось, что говорю очень громко. Кладбище наше на склоне горы. Оно все усеяно камнями. Огромными надгробными плитами. Их так много и под каждым из них человек. Некоторых я знал, видел. Город наш маленький. Камни, камни, камни. Сколько их по всей земле! Дед часто говорил, что, когда умирают тысячи, никто не удивляется, а когда умирает один, все удивляются. Он верно говорил. Мне сейчас до тысячи дела нет. Мне только мой дед нужен.

Наш зять рассказывал, что, когда дед заболел зимой и знал, что это уже конец, то не на шутку переживал: зимой тяжело и хлопотно хоронить, а дома, кроме зятя, мужчин больше нет. Три сына погибли на фронте, внук далеко, на Камчатке. Но Бог все-таки есть. Он взял деда весной, в хорошую погоду.

Бог, Бог. Дед, казалось, не очень-то верил в Бога, но часто произносил имя Всевышнего. Часто иронизировал, но никогда не богохульничал, не святотатствовал. «Однажды Бог решил развеселить бедняка. Не все же богатым веселиться. Он сначала спрятал его коня, а потом помог найти его». Мне кажется, Бог и надо мной решил посмеяться. Кажется, он вернет мне моего деда. Ведь мне нельзя без деда.

Он никогда не повышал на меня голоса, никогда не читал мне нравоучений. Но когда я ему потакал, сердился. Хмурил белые брови. «Надо всегда иметь свое, только свое мнение. Пусть жиденькое, но свое. А то ведь бывает и так: «Один съел

змею, говорят — он голоден, другой съел, говорят — лекарство. Нельзя угодничать».

В детстве я никогда не переживал и не страдал оттого, что у меня нет новых ботинок, нет велосипеда, что сегодня лягу спать на голодный желудок. Я знал от деда, что дерево у воды быстро растет, но и быстро стареет. И он не раз мне показывал такие деревья.

Я никогда не врал. Особенно деду. Хотя я не помню такого, чтобы он мне говорил, что обманывать нельзя, плохо, грешно. Он все это делал иначе, говорил как поэт: «Кривая стена быстро рухнет». Я с детства боялся лжи потому, что от деда знал, что у нее огромная, зубастая, прожорливая пасть и, пока придет правда, ложь успеет проглотить весь свет. А свет обязан беречь я, ты, он, все.

Я сидел и сидел у могилы деда, и мне не хотелось уходить. Он был рядом, совсем рядом, и я это понимал, чувствовал. Я смотрел на могильный холм, и мне он почему-то казался добрым. Я даже подумал: не удивительно, здесь лежит мой дед, самое доброе существо на свете. Старики говорили на похоронах, что они не помнят такого случая, чтобы дед незаслуженно кого-нибудь обидел. И я верю в это, потому что дед часто говорил: «Незаслуженной обидой можно сломать хребет человека, а сломанный хлеб никогда не станет целым».

Помню, в четвертом классе я запустил уроки. Старая учительница пришла к деду и сказала, что я могу потерять год. Дед нисколько не возмутился. Он спокойно сказал: «Год не потеряется. Потеряется то, что он мог приобрести. Значит, он родился умом на год позже».

Четвертый класс я окончил успешно. И к нам больше никогда не приходила учительница.

В военное и послевоенное время в нашей школе не было молодых учителей. Больше всего были седые, маленькие, аккуратные женщины всегда в черном. У многих из них сыновья погибли на фронте. Мы об этом знали и помнили. Знал об этом и дед, который никогда мне не говорил: «И чему вас там учат, в школе?», если даже выпирала наружу явная моя тупость. Обычно он спрашивал: «Что нового в школе?» Однажды он задал свой неизменный вопрос, и я сказал, что у нас в школе был диспут о любви и дружбе. Он очень удивился: «Это еще зачем?!» Я стал рассказывать, что любовь и дружба держатся на взаимном уважении и доверии, что вообще насильно мил не будешь и все такое прочее. Дед меня внимательно выслушал и сказал

серьезным тоном: «Все это, конечно, верно. Правильно. Только зачем об этом говорить вообще и говорить так долго? Человек сам должен знать, что насильно раскрытая роза не имеет запаха».

И вообще дед не любил, когда долго мусолили. Помню, как после окончания института меня провожали на Камчатку. Праздничный стол. Тамада говорил о враче, о его гуманизме. Врача нельзя ни с кем сравнить. Плохой инженер — полбеда, плохой врач — беда. Чистое сердце врача так же необходимо, как и чистые руки. Плохих профессий нет, есть плохие специалисты. Профессия врача прекрасная, но, к сожалению, специалисты бывают разные. Тамада говорил долго, часто повторялся. Он бы говорил еще бог весть сколько, если бы не перебил дед, который редко когда перебивал собеседника, не то что самого тамаду. «Дорогой Андраник, ты правильно говоришь, красиво говоришь. Профессии прекрасны, как цветы. Только из одного и того же цветка змея делает яд, пчела — мед».

Родственники не хотели, чтобы я поехал на Камчатку. Только дед был на моей стороне. Он говорил, что жизнь, как окно: каждый приходит посмотреть и уходит. Только окна бывают разные. Из одного можно увидеть соседний двор, а из другого — горизонт.

Первый отпуск. Летел с Камчатки к деду. Не терпелось. Все казалось, что самолет летит медленно. Я очень соскучился по нему. Утром мы с дедом пошли вместе в огород, где он обычно копался до позднего вечера.

Он совсем постарел. Сильно горбился, похудел. Только глаза, как прежде, были добрые и лукавые. Я смотрел на него, и меня одолевали тревожные мысли, а он, словно угадав их, улыбнулся и тихо сказал: «Я ее давно жду, ты лучше расскажи о своей Камчатке».

Я сидел у могилы деда со своим горем. Мне было одиноко. Я готов был зарыдать. Вспомнилась дедовская фраза во время войны после очередной похоронной: «Бог горе дал и горам — не выдержали. Отнял у них и передал людям».

Расстался с «добрым холмиком», когда стемнело. Теперь здесь моя Мекка. Когда холмик осядет, я поставлю памятник и напишу на нем: «Мой дед хлеб резал стоя». Я так напишу, потому что мой дедушка Маркос всегда хлеб резал так. Это был высший обряд.

Я расстался с дедом, чтобы вновь встретиться с ним. Я сделаю, как он учил меня, как учат в Карабахе: «Когда слишком

радуешься, пойди на кладбище, когда слишком горюешь, иди туда же».

Я бы никогда не покидал Карабаха, если бы не было Камчатки. Пять суток летел из Москвы. Трое сидел в Якутске, сутки — в Магадане. Меня встречали мои старые добрые друзья Корякский и Авачинский вулканы. С аэропорта до них рукой подать. Они стоят рядом как единый ансамбль, дополняя и украшая друг друга. Их уже невозможно представить отдельно. Только вместе. Корякский высокий, стройный, строгий, островерхий. Авача приземистая, широкоплечая, конус обрублен и всегда веселится, курит, выпуская густые бугристые облака дыма.

Я смотрел на них, и усталости как не было. Помахал им рукой, и мне показалось, что Корякский чуть наклонился своей белой шапкой, а Авача вдохнула широкой грудью и в следующий миг выдохнула из себя мощную струю дыма. На душе стало тепло. Я понял, что мне уже никак нельзя без них, и подумал, что им тоже уже нельзя без меня.

Помню, как однажды мы все, пацаны, удрали из школы, чтобы своими глазами посмотреть на самолет, который сел на открытом поле, недалеко от нашего Степанакерта. Каждому хотелось дотронуться до гигантского аэроплана. Только потом я узнал, что это был обыкновенный «кукурузник». Тогда мы мечтали хоть раз полететь высоко в небо. Посмотреть оттуда на маленький Степанакерт, на зеленый Карабах.

Сейчас мне все надоело. И самолеты, и машины, и поезда, и даже моторные лодки. Хочется на собачью упряжку. И хочется не просто так прокатиться. Я уже повзрослел, мне уже давно просто так ничего не хочется. Мечтаю пройти по тяжелейшему маршруту горсточки красноармейцев, которые завершили гражданскую войну. Они прошли тысячи километров на собаках, оставляя за собой... Советскую власть.

И хочется пройти по маршруту тех, кто боролся за идею. Прочувствовать то, что чувствовали они. История скрупулезно, беспристрастно констатирует голые факты. А ведь были и эмоции.

И еще: святой лозунг времени «Никто не забыт, ничто не забыто» относится не только к Великой Отечественной. Он относится к истории Родины вообще. И я хочу не только знать

историю Родины, но по-настоящему прочувствовать ее. Это мой долг, если хотите.

Вот для чего мне нужен древний, как мир, транспорт северян — собачья упряжка. И я добыю своего.

Сегодня получил письмо от родных из Степанакерта. Пишут, чтобы я не волновался: надгробный камень для могилы деда уже готов. По моей просьбе на гранитной глыбе будет написано: «Мой дед хлеб резал стоя».

Мне никогда не верилось, что дедушка мой Маркос может умереть. Мне просто это никогда не приходило в голову. Мудрость не может умереть. Год назад получил телеграмму и полетел в родной Карабах, оставляя за собой час за часом тысячи и тысячи километров. Лег на могилу деда, целовал сырую солончатую землю, и все не верилось. Казалось, приду домой и как прежде, как всегда буду дочитывать бесконечную, самую главную книгу жизни, которую создавал дед за свои долгие сто лет.

Для меня он был домашним Аристотелем, хоть и не имел ни одного класса образования. Александра Македонского из меня не воспитал, но зато терпеливо учил любить добро и ненавидеть зло. Мы всегда были вместе. Он всегда был рядом. Я только слушал и слушал. А сейчас, когда хоть немного научился говорить сам, деда нет. И все равно, когда порой удастся победить зло, я всегда чувствую рядом моего Аристотеля.

Мне не суждено было дочитать книгу мудрости деда. Значит, теперь сам должен дописать ее. И писать самой жизнью. Писать добром и правдой.